

За поворотом, в глубине
Лесного лога
Готово будущее мне
Верней залога.
Его уже не втянешь в спор
И не заластишь,
Оно распахнуто, как бор,
Всё вглубь, всё настезь.

Б. Пастернак

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!

Исса, сын крестьянина

Глава первая

ПЕРЕЦ

С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена; как огромная, на весь мир, рыхлая губка; как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которое никто еще никогда не видел.

Перец сбросил сандалии и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он в самом деле погрузил их в теплый лиловый туман, скопившийся в тени под утесом. Он достал из кармана собранные камешки и аккуратно разложил их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, равнодушное, глотающее навсегда, и белая искра погасла, и ничего не произошло — не шевельнулись никакие веки и никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него. Тогда он бросил второй камешек.

Если бросать по камешку каждые полторы минуты; и если правда то, что рассказывала одно-

ногая повариха по прозвищу Казалунья и предполагала мадам Бардо, начальница группы Помощи местному населению; и если неправда то, о чем шептались шофер Тузик с Неизвестным из группы Инженерного проникновения; и если чего-нибудь стоит человеческая интуиция; и если исполняются хоть раз в жизни ожидания — тогда на седьмом камешке кусты позади с треском раздвинутся, и на полянку, на мятую траву, седую от росы, ступит директор, голый по пояс, в серых габардиновых брюках с лиловым кантом, шумно дышащий, лоснящийся, желто-розовый, мохнатый, и ни на что не глядя, ни на лес под собой, ни на небо над собой, пойдет сгибаться, погружая широкие ладони в траву, и разгибаться, поднимая ветер размахами широких ладоней, и каждый раз мощная складка на его животе будет накатывать сверху на брюки, а воздух, насыщенный углекислотой и никотином, будет со свистом и клокотанием вырываться из разинутого рта. Как подводная лодка, продувающая цистерны. Как сернистый гейзер на Парамушире...

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, это был знакомый человек Клавдий-Октавиан Домарощинер из группы Искоренения. Он медленно приблизился и остановился в двух шагах, глядя на Переца сверху вниз пристальными темными глазами. Он что-то знал или подозревал, что-то очень важное, и это знание или подозрение

сковывало его длинное лицо, окаменевшее лицо человека, принесшего сюда, к обрыву, странную тревожную новость; еще никто в мире не знал этой новости, но уже ясно было, что все решительно изменилось, что все прежнее отныне больше не имеет значения и от каждого, наконец, требуется все, на что он способен.

— А чьи же это туфли? — спросил он и огляделся.

— Это не туфли, — сказал Перец. — Это сандалии.

— Вот как? — Домарощинер усмехнулся и потянул из кармана большой блокнот. — Сандалии? Оч-чень хорошо. Но чьи это сандалии?

Он придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил.

— Человек сидит у обрыва, — сказал он, — и рядом с ним сандалии. Неизбежно возникает вопрос: чьи это сандалии и где их владелец?

— Это мои сандалии, — сказал Перец.

— Ваши? — Домарощинер с сомнением посмотрел на большой блокнот. — Значит, вы сидите босиком? Почему? — Он решительно спрятал большой блокнот и извлек из заднего кармана малый блокнот.

— Босиком — потому что иначе нельзя, — объяснил Перец. — Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком. — Он нагнулся и посмотрел через раздви-

нутые колени. — Вон она лежит. Сейчас я в нее камушком...

— Минуточку!

Домарошционер проворно поймал его за руку и отобрал камешек.

— Действительно, простой камень, — сказал он. — Но это пока ничего не меняет. Непонятно, Перец, почему это вы меня обманываете. Ведь туфлю отсюда увидеть нельзя — даже если она действительно там, а там ли она, это уже особый вопрос, которым мы займемся попозже, — а раз туфлю увидеть нельзя, значит, вы не можете рассчитывать попасть в нее камнем, даже если бы вы обладали соответствующей меткостью и действительно хотели бы этого и только этого: я имею в виду попадание... Но мы все это сейчас выясним.

Он сунул малый блокнот в нагрудный карман и снова достал большой блокнот. Потом он поддернул брюки и присел на корточки.

— Итак, вы вчера тоже были здесь, — сказал он. — Зачем? Почему вы вот уже вторично пришли на обрыв, куда остальные сотрудники Управления, не говоря уже о внештатных специалистах, ходят разве для того, чтобы справить нужду?

Перец сжался. Это просто от невежества, подумал он. Нет, нет, это не вызов и не злоба, этому не надо придавать значения. Это просто невежество. Невежеству не надо придавать значения, никто не придает значения невежеству. Неве-

жество испражняется на лес. Невежество всегда на что-нибудь испражняется, и, как правило, этому не придают значения. Невежество никогда не придавало значения невежеству...

— Вам, наверное, нравится здесь сидеть, — вкрадчиво продолжал Домарощинер. — Вы, наверное, очень любите лес. Вы его любите? Отвечайте!

— А вы? — спросил Перец.

Домарощинер шмыгнул носом.

— А вы не забываетесь, — сказал он обиженно и раскрыл блокнот. — Вы прекрасно знаете, где я состою, а я состою в группе Искоренения, и поэтому ваш вопрос, а вернее, контрвопрос абсолютно лишен смысла. Вы прекрасно понимаете, что мое отношение к лесу определяется моим служебным долгом, а вот чем определяется ваше отношение к лесу — мне не ясно. Это нехорошо, Перец, вы обязательно подумайте об этом, советую вам для вашей же пользы, не для своей. Нельзя быть таким непонятным. Сидит над обрывом, босиком, бросает камни... Зачем, спрашивается? На вашем месте я бы прямо рассказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете, может быть, есть смягчающие обстоятельства и вам в конечном счете ничто не грозит. А, Перец? Вы же взрослый человек и должны понимать, что двусмысленность неприемлема. — Он закрыл блокнот и подумал. — Вот, например, камень. Пока он лежит неподвижно, он прост, он

не внушает сомнений. Но вот его берет чья-то рука и бросает. Чувствуете?

— Нет, — сказал Перец. — То есть, конечно, да.

— Вот видите. Простота сразу исчезает, и ее больше нет. Чья рука? — спрашиваем мы. Куда бросает? Или, может быть, кому? Или, может быть, в кого? И зачем?.. И как это вы можете сидеть на краю обрыва? От природы это у вас или вдруг вы специально тренировались? Я, например, на краю обрыва сидеть не могу. И мне страшно подумать, ради чего бы это я стал тренироваться. У меня голова кружится. И это естественно. Человеку вообще незачем сидеть на краю обрыва. Особенно если он не имеет пропуска в лес. Покажите мне, пожалуйста, ваш пропуск, Перец.

— У меня нет пропуска.

— Так. Нет. А почему?

— Не знаю... Не дают вот.

— Правильно, не дают. Нам это известно. А вот почему не дают? Мне дали, ему дали, им дали и еще многим, а вам почему-то не дают.

Перец осторожно покосился на него. Длинный тощий нос Домарошинера шмыгал, глаза часто мигали.

— Наверное, потому что я посторонний, — предположил Перец. — Наверное, поэтому.

— И ведь не только я вами интересуюсь, — продолжал Домарошинер доверительно. — Если бы только я! Вами интересуются люди

и поважнее... Слушайте, Перец, может быть, вы отсыдете от обрыва, чтобы мы могли продолжать? У меня голова кружится смотреть на вас.

Перец поднялся.

— Это потому, что вы нервный, — сказал он. — Не будем мы продолжать. В столовую пора, опоздаем.

Домарощинер поглядел на часы.

— Действительно, пора, — сказал он. — Что-то я увлекся сегодня. Всегда вы меня, Перец, как-то... не знаю даже, что сказать.

Перец запрыгал на одной ноге, натягивая сандалию.

— Ох, да отойдите же вы от края! — страдальчески закричал Домарощинер, махая на Переца блокнотом. — Вы меня убьете когда-нибудь своими выходками!

— Уже все, — сказал Перец, притопывая. — Больше не буду. Пошли?

— Пошли, — сказал Домарощинер. — Но я констатирую, что вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы меня очень огорчаете, Перец. Разве так можно? — Он посмотрел на большой блокнот и, пожав плечами, сунул его под мышку. — Странно даже. Решительно никаких впечатлений, я уже не говорю об информации. Сплошная неясность.

— Так а что отвечать? — сказал Перец. — Просто мне нужно было здесь поговорить с директором.

Домарошционер замер, словно застряв в кустах.

— Ах, вот как это у вас делается, — сказал он изменившимся голосом.

— Что делается? Ничего не делается...

— Нет-нет, — шепотом сказал Домарошционер, озираясь. — Молчите и молчите. Не надо никаких слов. Я уже понял. Вы были правы.

— Что вы поняли? В чем это я прав?

— Нет-нет, я ничего не понял. Не понял — и все. Вы можете быть совершенно спокойны. Не понял и не понял. И вообще я здесь не был и вас не видел. Я, если хотите знать, все утро просидел на этой вот скамеечке. Очень многие могут подтвердить. Я поговорю, я попрошу.

Они миновали скамеечку, поднялись по выщербленным ступеням, свернули в аллею, посыпанную мелким красным песком, и через ворота вступили на территорию Управления.

— Полная ясность может существовать лишь на определенном уровне, — говорил Домарошционер. — И каждый должен знать, на что он может претендовать. Я претендовал на ясность на своем уровне, это мое право, и я исчерпал его. А там, где кончаются права, там начинаются обязанности, и смею вас уверить, что свои обязанности я знаю так же хорошо, как и права...

Они прошли мимо десятиквартирных коттеджей с тюлевыми занавесками на окнах, миновали гараж, крытый гофрированным железом, пересекли спортивную площадку, где

на столбах одиноко висела дырявая волейбольная сетка, и пошли мимо складов, возле которых такелажники стаскивали с грузовика громадный красный контейнер, мимо гостиницы, в дверях которой стоял с портфелем болезненно-бледный комендант с неподвижными выпученными глазами, вдоль длинного забора, за которым скрежетали двигатели, они шли все быстрее, потому что времени оставалось мало, и Домарошцинер уже ничего не говорил, а только задыхался и сипел, потом они побежали, и все-таки, когда они ворвались в столовую, было уже поздно и все места были заняты, только за дежурным столиком в дальнем углу оставались еще два места, а третье занимал шофер Тузик, и шофер Тузик, заметив, что они в нерешительности топчутся у порога, помахал им вилкой, приглашая к себе.

Все пили кефир, и Перец тоже взял себе кефира, так что у них на столе на заскоруждой скатерти выстроилось шесть бутылок, а когда Перец двигал под столом ногами, устраиваясь поудобнее на стуле без сиденья, звякнуло стекло, и в проход между столиками выкатилась бутылка из-под бренди. Шофер Тузик ловко подхватил ее и засунул обратно под стол, и там снова звякнуло стекло.

— Вы поосторожнее ногами, — сказал он.

— Я нечаянно, — сказал Перец. — Я же не знал.

— А я знал? — возразил шофер Тузик. — Их там четыре штуки, доказывай потом, что ты не домкрат.

— Ну, я, например, вообще не пью, — с достоинством сказал Домарошцинер. — Так что ко мне это вообще не относится.

— Знаем мы, как вы не пьете, — сказал Тузик. — Так-то и мы не пьем.

— Но у меня печень больна! — забеспокоился Домарошцинер. — Как вы можете? Вот справка, прошу...

Он выхватил откуда-то и сунул под нос Перецу мятый тетрадный листок с треугольной печатью. Это, действительно, была справка, написанная неразборчивым медицинским почерком. Перец различил только одно слово: «антабус», а когда, заинтересовавшись, попытался взять бумагу, Домарошцинер не дал и подсунул ее под нос шоферу Тузику.

— Это самая последняя, — сказал он. — А есть еще за прошлый год и за позапрошлый, только они у меня в сейфе.

Шофер Тузик справку смотреть не стал. Он выцедил полный стакан кефиру, помотал головой, понюхал сустав указательного пальца и, проследившись, сказал севшим голосом:

— Вот, например, что еще бывает в лесу? Деревья. — Он вытер рукавом глаза. — Но на месте они не стоят: прыгают. Понял?

— Ну-ну? — жадно спросил Перец. — Как так — прыгают?

— А вот так. Стоит оно неподвижно. Дерево, одним словом. Потом начинает корчиться, корячиться и ка-ак даст! Шум, треск, не разбери-поймешь. Метров на десять. Кабину мне помяло. И опять стоит.

— Почему? — спросил Перец.

Он очень ясно представлял это себе. Но оно, конечно же, не корчилось и не корячилось, оно начинало дрожать, когда к нему приближались, и старалось уйти. Может быть, ему было противно. Может быть, страшно.

— Почему оно прыгает? — спросил он.

— Потому что называется: прыгающее дерево, — объяснил Тузик, наливая себе кефиру.

— Вчера прибыла партия новых электропил, — сообщил Домарощинер, облизывая губы. — Феноменальная производительность. Я бы даже сказал, что это не пилы, это пилящие комбайны. Наши пилящие комбайны Искоренения.

А вокруг все пили кефир — из граненых стаканов, из жестяных кружек, из кофейных чашечек, из свернутых бумажных кульков, прямо из бутылок. Ноги у всех были засунуты под стулья. И все, наверное, могли предъявить справки о болезнях печени, желудка, двенадцатиперстной кишки. И за этот год, и за прошлые годы.

— А потом меня вызывает менеджер, — продолжал Тузик в повышенном тоне, — и спрашивает, почему у меня кабина помята. Опять, говорит, стервец, налево ездил? Вы вот, пан Перец,